

Повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая»

Примерные вопросы для самостоятельного предварительного анализа повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»:

1. Где и когда разворачивается действие повести? Как изменяются на протяжении повествования пространственно-временные координаты и что при этом остается неизменным?
2. От чьего лица ведется рассказ? Как способ организации повествования формирует координаты художественного мира произведения?
3. Как поданы в начале повести главные герои произведения:
 - Кто они?
 - Что знают о самих себе, о своем прошлом?
 - Чем и как живут?
 - Что дает Кузьменьям их неразрывная братская слитность?
 - Что заставило их отправиться на Кавказ?
4. Какое слово с самого начала повести становится ключевым и в судьбе главных ее героев, и в сюжете произведения?
5. Какие эмоционально-психологические состояния, чувства героев последовательно запечатлены на страницах повести? Как бы вы описали, а может быть, и изобразили «эмоциональную кривую» произведения?
6. Чем объясняется многолюдство повести? Что общего в судьбах большинства героев? Охарактеризуйте социальную среду обитания Кузьменьям на разных этапах их жизни: что за люди их окружают? какие отношения складываются у них с этими людьми?
7. Что такое Кавказ в контексте повести и в контексте личных и национальных судеб, представленных в произведении? (Обратите внимание на многочисленные литературные реминисценции, формирующие этот образ.)
8. Кто, почему и за что распинает Сашку? Как переживает это Колька? Что означает для него гибель брата?
9. Зачем Приставкаин на место погибшего Сашки «подставляет» чеченца Алхузура? Какой эпизод повести предваряет и предсказывает такое сюжетное решение?
10. Как обозначены в повести источники зла, причины трагедии?
11. Какую роль играют в повести многочисленные цитаты, аллюзии, реминисценции? К каким текстам отсылает читателя автор? Как вообще в этой книге осмысливается миссия слова, его значение в жизни людей?
12. Объясните название произведения.

Предлагаемое далее расчлененное на тематические блоки исследование повести может служить основой, опорой для разговора на уроках.

БРАТЬЯ

Ключевые слова повести появляются уже в посвящении, где сама эта книга обозначена как «беспризорное дитя литературы»¹, долго не находившее журнального пристанища.

Перешагнув за пределы своего первоначального контекста, формула «беспризорное дитя» определяет общественный статус, образ жизни и судьбу главных героев повести – Кузьменьям. Правда, в центре повествования оказывается не одно дитя, а нераздельное органическое единство двоих – братьев Кольки и Сашки Кузьминьям (не потому ли Кузьменьям, что вызывает рифмо-ассоциацию – детенышья?).

Принципиальная значимость братства как формы и способа человеческого существования получает сюжетное подтверждение: когда один из братьев-близнецов погибает, второй выживает только благодаря тому, что рядом с ним появляется новый, такой же неразлучный и преданный брат.

И все-таки почему не просто дитя, а – братья? Почему безысходно трагическому одиночеству, запечатленному в формуле «беспризорное дитя», Приставкаин предпочел неразрывное единство, обозначенное пронизывающим повесть от начала и до конца словом «братья»?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует пристально взглянуть в героев и проследовать за ними по маршруту их судьбы.

Братья Кузьминьям являют собой поначалу некое единое неделимое целое, изнемогающее от одного и того же мучительного чувства – голода, одержимое желанием увидеть, «как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе», ведомое неодолимым искушением хотя бы почувствовать, как этот вожденный хлеб пахнет (7).

Они отважно держат оборону против холодного и враждебного окружающего мира, в полной мере используя свое преимущество: «В четыре руки тащить легче, чем в две; в четыре ноги удирать быстрее. А уж четыре глаза куда вострей видят, когда надо ухватить, где что плохо лежит» (8). Эту спасительную сторону тандема позднее мгновенно улавливает и заместивший погибшего Сашку Алхузур: «Один брат – дывахлаз, а дыва брат – четырехлаз!» (228).

Свое единство Кузьменыши подтверждают практической неразлучностью: «вместе ходят, вместе едят, вместе спать ложатся» (12). И даже когда они на уроки по очереди ходили, чтобы не прерывать «земляные работы» – подкоп под хлеборезку, «получалось, что оба были хотя бы наполовину» (12). Каждый из них осознает себя всего лишь «половинкой», да и для окружающих они нерасторжимое целое. «Их разделить нельзя, они нерасчленимые, есть такое понятие в арифметике... Это про них как раз!» – так, в третьем лице, тем самым подчеркивая объективность факта, рассуждает Колька о себе с братом в тот драматический момент, когда Сашка вдруг заявляет о готовности «по своей воле» расстаться с ним из-за Регины Петровны. Объяснить это, с точки зрения Кольки, можно только одним: «Сашка свихнулся» (191). Ибо вообще-то жили и выживали братья тем, что сами же сформулировали в ответ на вопрос воспитательницы: «А по отдельности вас как? – Мы по отдельности не бываем» (137), где «не бываем» равнозначно «не существуем».

Гибель Сашки становится для Кольки катастрофой, так как это не просто гибель близкого, дорогого, единственного в мире жизненно необходимого существа – это собственная, заживо переживаемая гибель.

Вот он везет сквозь ночь мертвого Сашку: «Он даже не понял, тяжело ему везти или нет. Да и какая мера тяжести тут могла быть, если он вез брата, с которым они никогда не жили порознь, а лишь вместе, один как часть другого, а значит, выходило, что Колька вез самого себя» (204).

Не мыслящий себя вне братского единства, спасающий себя лишь как часть целого, как половинку, на очередной вопрос: «А ты кто же будешь? Ты Колька или Сашка?» – только что навеки простившийся с братом Колька отвечает: «Я – обоим!» (208).

Когда же одиночество сомкнулось вокруг него железным кольцом, когда он не только умом, но и всем своим измученным естеством осознал, что нет ни Сашки, ни Регины Петровны с «мужичками», жизнь потеряла для него смысл: для себя, только для себя, сил у него не было. И, свернувшись клубочком на грязном полу заброшенной, опустошенной колонии, он лег умирать.

Жизнь вернется к нему только тогда, когда сквозь мертвящее забытие он вдруг вновь почувствует рядом с собой брата. Именно почувствует, физически ощутит братское участие, братское тепло. Вновь обретенный Сашка толкал ему в лицо железной кружкой и, почему-то «ломаю свой язык», уговаривал: «Хи... Хи... Пит, а то умыратсопсем», потом «накрывал брата чем-то теплым и исчезал, чтобы снова возникнуть со своей кружкой». Правда, у этого Сашки было какое-то «странное чернявое, широкоскулое» лицо и, выплыв из забытия, Колька вдруг осознает, что «никакой это не Сашка, а чужой пацан», с «чужим голосом» и чужими словами.

« – Саск нет. Ест Алхузур. Мына так зыват... »

Но Кольке нужен Сашка: « – Ты мне Сашку позови. Скажи, мне плохо без него. Чего он дурака валяет, не идет... » (216)

Так хотелось ему сказать и думалось, что сказал, а выходило лишь мычание. И опять – забытие. А сквозь сон – «виделось, что чернявый, чужой Алхузур кормит его по одной ягодке виноградом» и сует в рот разжеванные кусочки ореха. И это опять рождало ощущение присутствия брата. Точно так же они с Сашкой не раз спасали друг друга. На своем страшном пути к станции с телом мертвого брата Колька вспоминает, как Сашка, случайно найдя под телегой одну-единственную ягодку, принес ее ему, больному, тайком залез под кровать в изоляторе и шептал: «Колька, я принес тебе ягоду смороды, ты выздоравливай, ладно?» (205) Вспоминает и то, как уже он, в свою очередь, спал под санитарным вагоном, где погибал от дизентерии объевшийся с голодухи грязных зеленых овощей Сашка. Время от времени перестукиваясь, они словно сигнализировали друг другу: Я есть. Ты есть. Мы есть.

Так и выживали. Так выжил Колька и теперь. Выжил благодаря тому, что чужой, чернявый, плохо говорящий по-русски Алхузур не столько понял, сколько почувствовал, угадал, что спасение не только в тепле, еде и питье, но и в утолении самой главной – душевной – потребности: « – Я, я Саск... Хоти и даэкзыви... Буду Саск ».

И только после этого «дело пошло на поправку» (216).

Своим братством Колька и Алхузур защищаются и от русских солдат («Так это Сашка лежит! Брат мой...» /219/ – выпалил первое, что пришло на ум, Колька молоденькому голубоглазому бойцу, осматривающему в поисках чеченцев колонию); и от чеченских мстителей («Не убей! Он мынэ от быэцспысат... Он мынэ брат называт...» /230/ – отчаянно молит грозного сородича Алхузур); и даже от беспощадной государственной системы в лице лысого («ушлого») военного: «Он мой родной брат», – упрямо повторяет на допросе Колька. И в ответ на неопровержимый, с точки зрения следователя, аргумент: «Он же черный! А ты светлый! Какие же вы братья?» – с достоинством и ничуть не кривя душой отвечает: «Настоящие» (239).

И такова сила их убежденности, что перед лицом этого более высокого, чем кровное, родовое, братства отступает, оставляя разноликих Кузьменьшей друг другу, не только индивидуальная злая воля, но и смертоносный государственный механизм.

Примечательно, что сами братья Кузьмины, будучи внешне не различимыми для окружающих близнецами и неразлучными товарищами по судьбе, никак не связывали свое нерасторжимое единство с понятием семьи. Попытка квалифицировать их совместное выступление на концерте как «семейный дуэт» вызывает у них внутреннее сопротивление и очевидное недовольство: «семейными ни за что ни про что обозвали!» (137) У них не только сейчас, в их развернутом на страницах повести беспризорном настоящем, нет «на всем белом свете ни одной, ни единой кровинки близкой» (24), но словно никогда и не было и быть не могло. Ни в разговорах, ни в мечтах, ни в воспоминаниях – ни разу, ни прямо, ни косвенно не возникают образы отца, матери, семейного дома. Они даже не примеряют к себе эти понятия, не совмещают, не связывают их с собой.

Лишь однажды в повести возникает разговор о маме. Затевают его скучающие по уехавшей в больницу Регине Петровне ее «мужички». «Без мамы плохо», – жалуется Марат. «Конечно, плохо», – подтверждает Колька, то ли только для малышей, то ли и для себя признавая эту истину. Но в ответ на высказанную «мужичками» уверенность в том, что не только их собственная, но и «все мамы приедут», Кузьменьши, явно не желая развивать эту тему, «заторопились» назад, в колонию (128). Другой пример: на вопрос тетки Зины – «А родители твои игде?» – «Сашка пожал плечами, отвернулся. Он на такие вопросы не отвечал» (111). И даже когда любимая Кузьменьшами Регина Петровна предлагает им жить одной семьей, «про семью братья не поняли. Они этого понять не могли. Да и само слово семья было чем-то чужеродным, враждебным для их жизни» (157). Даже на краю гибели, в ужасе и отчаянии, даже умирая, погружаясь в забытие, Колька будет звать не маму, а Сашку.

Но самым пронзительным, страшным свидетельством бессемейности, беспризорности братьев является то, что они не только не знают дня своего рождения, но даже не понимают, что это значит. «Почему день? А если мы ночью родились? Или утром?» (169) – простодушно изумляются Кузьменьши вопросу воспитательницы.

Такую же беспризорность, бессемейность, неприкаянность несет в себе и Алхузур. Правда, у него, в отличие от не ведающих своих истоков Сашки и Кольки, есть корни, есть родная земля, есть род, каждый из мужчин которого для него «дада» – «отэц». Но единственной реальной, жизненно необходимой родней – братом, без которого не выжить и незачем жить, – становится для него Колька.

И о «вторых» Кузьменьшах можно сказать точно так же, как о «первых»: «Друг у друга они есть – вот это будет верно. Значит, куда бы их ни везли, дом их, их родня и их крыша – это они сами» (24).

Союз Кольки и Алхузура высвечивает, обнажает то, что в союзе Кольки и Сашки тоже было сущностным, главным: родство душ в единстве судьбы при совершенной разности характеров, при абсолютной личностной уникальности. Это только для равнодушных окружающих «Кузьмины – это все равно, что один человек в двух лицах», так что даже характеристику им выдали одну на двоих, поскольку для посторонних глаз «не только внешность, но и привычки, и наклонности», и все у них одинаковое. Но это для тех, для кого «все дети на одно лицо» (66). А для читателя, которому герои показаны не извне (примечательно, что портретной характеристики нет вообще), а изнутри, братья, неразрывно связанные единой судьбой, взаимной преданностью и удвоенным инстинктом выживания, по сути своей совершенно разные. Они не повторяют, а дополняют друг друга.

Созерцательный, спокойный Сашка – генератор идей. Оборотистый, хваткий Колька – практик, воплощающий эти идеи в жизнь. Именно благодаря такому гармоническому взаимодополнению и берутся они за реализацию дерзких операций под общим девизом «взять жратье»: затевают подкоп под хлебозерку, осуществляют победную акцию «экспроприации» на воронежском рынке, обеспечивают себя сладкой заначкой на консервном заводе. Каждое из этих с юмором и состраданием описанных мероприятий – пример плодотворности взаимодействия точного замысла (идеи) и блестящей организации (воплощения) и одновременно свидетельство жизнестойкости и прочности братского союза Кузьменьшей.

Свою разность прекрасно сознают, хотя и скрывают от посторонних глаз, сами братья. «Сашка вон ест быстрее, у него терпелу мало. У меня побольше. Зато он умнее, мозгой шевелит. А я – деловитый» (66), – в знак особого доверия приоткрывает Колька секрет тандема Регине Петровне.

Разность проявляется уже в мелочах: «Если бы кто-то мог знать привычки братьев [примечательная оговорка – никто не знал! – Г.Р.], он и по свисту бы их различил. Колька свистел только в два пальца, а выходило у него переливчато, замысловато. Сашка же свистел в две руки, в четыре пальца, сильно, сильней Кольки, аж в ушах звенело, но как бы на одной ноте» (200).

По-разному и каждый в отдельности, особо, влюбляются они в Регину Петровну. «Это было единственное, что оказалось у них не просто общим, как все остальное, но и отдельным, принадлежащим каждому из них.

Да и нравилось Кузьменьшам в женщине разное. Сашке нравились волосы, нравился ее голос, особенно когда она смеялась. Кольке же больше нравились губы женщины, вся ее колдовская внешность, как у какой-то Шахерезады, которую он видел в книжке восточных сказок» (39).

Едва ли не в любой ситуации созерцатель Сашка сохраняет философскую дистанцию, видение сути и понимание перспективы, в то время как деятельный, активный, но недальновидный Колька погружается в событие с головой. Так, в охотничьем азарте заготовки запасов повидла Колька совершенно забывает о вечно подстерегающей опасности зарваться и нарваться на беду. Поэтому когда Сашка «задарма» уступает шакалам Волшебную калошу – «золотую, родненькую, славную Глашу» (131), с помощью которой банки с повидлом благополучно сплавлялись с территории завода на пустырь, а оттуда – в тайник, Колька расстроился до слез, потом «рассвирепел», полагая, что брат не иначе как «сбрэндил», добровольно отказываясь от надежной кормилицы. Сашка же, изобретший этот остроумный способ самообеспечения, не только не утрачивает чувство опасности, но, что поразительно, не теряет чувство меры и представление нравственного предела, который нельзя переступить: «В краже совесть тоже нужна. Себе взял, оставь другим. Умей вовремя остановиться...» (133).

Еще более явственно разница между братьями обнаруживается в том, как ощущают и объясняют они одно из самых сильных и постоянных своих переживаний – страх. Колька сосредоточен на внешнем и в принципе устранимом его источнике – прячущихся в горах бандитах. Сашкины ощущения сложнее и трагичнее – это экзистенциальный страх покинутости, заброшенности, одиночества человека во враждебном ему мире:

« – Я не их боялся...», – пытается объяснить он кивающему на «этих», которых все даже называть опасаются, Кольке.

« – Я всего боялся. И взрывов, и огня, и кукурузы... Даже тебя.

– Меня?

– Ага.

– Меня?! – еще раз переспросил, удивляясь, Колька.

– Да нет, не тебя, а всех... И тебя. Вообще боялся. Мне показалось, что я остался сам по себе.

Понимаешь?

Колька не понял и промолчал» (152 – 153).

Этот разговор, как и само возникшее вдруг между «половинками» непонимание, – один из характерных для книги Приставкина, но не сразу замечаемых за напряженностью сюжета и социальной остротой повествования прорывов в экзистенциальную область, к онтологическим, метафизическим проблемам человеческого бытия.

По-разному видят братья и личный выход из кавказского тупика. Они даже поспорили о том, бежать ли немедленно, или ждать Регину Петровну. И Колька, для которого «Сашка умней, это ясно», «неохотно согласился» подождать (158). Но и относительно дальнейшего маршрута возникают у них разногласия: «Колька тянул назад в Подмоскowie, Сашка звал вперед, туда, где горы» (156).

В разные стороны и направит их беспощадная судьба.

Страшной смертью погибает Сашка, зверски растерзанный за тот серебряный ремешок, который отдал ему перед катастрофой Колька, даже не подозревавший, что передает эстафету смерти. «Горький» Сашка – так прозвали его в поезде, который вез их с Колькой на Кавказ... В поезде же он и отправится, уже окончательно и бесповоротно один, в смертную даль.

А «сладкий» Колька, пережив смерть своей «половинки», а тем самым и собственную смерть, возвращается к жизни усилиями нового брата и вместе с ним, опять-таки в поезде, уезжает в неведомую, засекреченную (?!), но, может быть, все-таки дающую шанс выжить чужую сторону.

И этот шанс на выживание сохраняется, по логике повести, вопреки беспощадному могущественному давлению извне и благодаря неистребимости, спасительности, целительности человеческого братства. Братство в книге Приставкина по существу выступает синонимом человечности.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Среда обитания – это социальное, бытовое, нравственное, психологическое пространство жизни человека. Это то, что формирует его характер, лепит личность, коректит или насыщает светом душу. Каков же жизненный контекст судьбы Кузьменьшей?

Социально-бытовые обстоятельства жизни героев повести можно определить одним словом: страшные.

Детдомовцы, колонисты, беспризорные – таков их общественный, официальный статус. В переводе на обиходный, в том числе их собственный язык – «урки», «шакалы», «шпана», «блатяги», «дикая орда»...

Надпись на бывшем «Силькозтекнюкоме», куда их вывезли из «подмосковной шараповки», гласит: «Для переселенцев из Мос. обл. 500 ч. Беспризорные». Чьей-то недоброй волей заброшенные в чужую

враждебную сторону «для какого-то невероятного эксперимента», они и сами не могут понять, кто же теперь они есть и что означает в этом зловещем «500 ч. Беспризорные» буква «ч»: «чечмеков, чумаков, чудиков? А может быть, чужаков?» (61).

Даже сиротами мальчиков никто не называет, и, пожалуй, сами они себя таковыми не чувствуют, ибо сиротство – это некое положение относительно родителей, это присутствие, пусть со знаком минус, родителей в судьбе ребенка. Здесь же – абсолютная пустота в самом первоисточке человеческого бытия: не просто беспризорность, бессемейность – безродность.

Неизбывной горечи и боли исполнено авторское отступление на эту тему: «А может, это все сказки, что безродные – колонисты да детдомовцы – рождаются? Может, они сами по себе заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в худом доме? Нет их, нет, а потом, глядишь, в какой-то щели появились! Копшатся, жучки эдакие, и по рожам немытым видно, по движениям особенным хватательным: ба! Да это наш брат беспризорный на белый свет выполз! От него, говорят, вся зараза, от него и моль, и мор, чесотка всякая... И так в стране продуктов не хватает, а преступность растет и растет. Пора его, родного, персидским порошком, да перетрумом, да керосинчиком, как таракашек, морить! А тех, кто попроржорливее, раз – и на Кавказ, да еще дустом или клопомором рельсы за поездом посыпать, чтобы памяти не осталось. Вот, глядишь, и не стало. И всем спокойно. Так на совести гладко. Из ничего вышли, в ничего ушли. Какое уж там рождение! Господи!» (170).

Вся система отношений и обстоятельств, в которую погружены Кузьменьши, направлена на то, чтобы вытравить из них сознание осмысленности и ценности своего существования, низвести его на уровень физического прозябания, а в конце концов обратить в не-существование – так, чтобы памяти о них не осталось: «из ничего вышли, в ничего ушли» (170).

Человеческое окружение Кузьменьшей многолико, многоголосо, многолюдно – это вся Россия, поднятая на дыбы, взбаламученная, пущенная по миру, но не только войной с внешним врагом, которая «всех перевернула и выкинула из привычного» (93), но – и это еще страшней! – не ведающей пресыщения, беспощадной, истребительной войны власти с собственным народом. Главным методом этой войны было тотальное выкорчевывание – всех и отовсюду, так чтоб ни дома, ни социальной ниши, ни профессиональной, ни национальной почвы под ногами – никакой почвы чтоб не было, чтоб не люди, а «тучки», «песчинки», «перекати-поле», покорные швыряющей их из стороны в сторону воле, безропотно влачили по «пустыне» необъятного отечества. Об этом страшно и неопровержимо свидетельствуют судьбы самих Кузьменьшей, воспитательницы Регины Петровны, жены погибшего летчика, которая после гибели мужа оказалась со своими детьми никому не нужна; проводника Ильи Зверка, в тридцатом лишившегося раскулаченных родителей, а в начале войны повторившего их путь в товарняке в далекую Сибирь (83) и с тех пор скитавшегося непрерывно; тетки Зины и ее земляков из Курской области, которых «тоже привезли» (113) в кавказский «рай» за то, что в оккупации не погибли, а жили и выжили; одноногого возчика Демьяна, в «шашнацать» выселенного «за лошадь» (190), а теперь, после войны, «без надежды» поселившегося в чужом, богатом, но враждебном к пришельцам краю. «Дом-то где? Где? Нету...» (93). И быть не должно. Поэтому и на «энтих... черных», которых большая война пощадила, такую силу бойцов нагнали, «будто /.../ окружение под Сталинградом делали», и – всех скопом, живых и мертвых, малых и больших, прочь «вывозили»... (190) «Привезли», «вывозили»... Неопределенно-личная, обезличивающая, уничтожающая, убийственная сила – что может противопоставить ей одинокая (и даже прижавшаяся к другой такой же одинокой, теплой, уязвимой) человеческая личность?..

В этой беспощадной мясорубке люди не живут – выживают, часто ценой утраты, забвения, предательства собственной человечности. Равнодушие друг к другу, нравственная глухота и слепота даны в повести не просто как проявление личностной коррозии отдельных человеческих особей, а как результат воздействия целенаправленной государственной политики вытравливания нравственной вменяемости. Все тот же вездесущий Колька становится неожиданным и невольным недоумевающим свидетелем трагедии ссыльных чеченских ребятишек – тех, кого «вывезли» в одной из первых партий, еще до прибытия Кузьменьшей на Кавказ. Запертые в зарешеченных вагонах, они вопили, кричали, плакали, протягивали сквозь решетки руки, о чем-то молили, но никто, кроме Кольки, «как оказалось, этих криков и плача не слышал. И машинист седенький с их паровоза мирно прохаживался, постукивая молоточком по колесам, и шакалы суетились у поезда, и люди на станции двигались спокойно по делам, а радио доносило брагурный марш духового оркестра: «Широка страна моя родная...» (46). Растерянный, желающий, но бессильный помочь, не понимающий, о чем просят, Колька, разумеется, не догадывается, что это роковая встреча, что черноглазые иноязычные пленники – его собратья по судьбе, что один из таких, как они, спасет ему жизнь, станет настоящим братом и не понятая тогда отчаянная детская мольба – «Хи! Хи!» – эхом отзовется в обращенных к нему призывах новоявленного чернявого «Сашки»: «Хи... Хи... Пит, а то умыратсопсем... Надо пит водды... Хи... Пынымаш, хи...» (215). Может быть, потому и будет ему протянута эта спасительная кружка с водой, что тогда, при встрече в пути, он единственный посочувствовал и хотел помочь. Не мог, но хотел...

Коллективная нравственная глухота, продиктованная страхом, звериным инстинктом самосохранения, в свою очередь, становится почвой для безоглядной жестокости и ненависти к тем, на кого руководящая рука указывает как на врагов: «Басмачи, сволочь! К стенке их! Как были сто лет разбойники, так и остались головорезами! Они другого языка не понимают, мать их так... Всех, всех к стенке! Не зазя товарищ Сталин смел их на хрен под зад! Весь Кавказ надо очищать! Изменники Родины! Гитлеру прод-да-ли-сь!» (147). Этому крику ярости солдата, раненного в перестрелке с сопротивляющимися переселению чеченцами, вторит в повести уже из другого, нашего, времени ветеран карательных акций – из числа тех, «кто от Его имени волю его творили»: «Всех, всех их надо к стенке! Не добились мы их тогда, вот теперь и хлебаем» (225).

Когда писалась и публиковалась повесть, кавказский котел был прочно закрыт крышкой еще той, сталинской, выделки и запечатленные Приставкиным реваншистские настроения («Они верят, что не все у них позади...» /226/) казались не более чем бессильной старческой, на грани маразма, злобой. А когда давление на крышку сверху ослабло и давлением изнутри ее сорвало, события полувековой давности стали кровавой и страшной сегодняшней действительностью...

Но вернемся к Кузьменьшам. Большинство людей, с которыми жизнь сталкивает братьев, равнодушны к ним, а то и потенциально или открыто опасны для них.

Символична в этом плане уже первая сцена, где один из Кузьменьшей – Колька – сосуществует рядом с усатым подполковником с пачкой «Казбека» в руках, абсолютно не замечающим вожающе на коробку папирос оборвыша. Так же не замечают братьев и многие другие люди, по долгу службы обязанные интересоваться ими и даже заботиться о них. «Никто не поинтересовался, отчего они вдруг решили ехать, какая нужда гонит наших братьев в дальний край» (17). Никто не догадывался об истинной причине их отъезда на Кавказ, никто не провожал их на вокзал, никто не побеспокоился о том, чтобы они не умерли с голоду по дороге: «Выдали по пайке хлеба. Но наперед не дали. Жирные будете, мол, к хлебу едете, да хлеба вам давать!» (19).

Воплощением убийственного (в буквальном смысле) равнодушия предстает директор томилинского детдома Владимир Николаевич Башмаков, который, как пишет, солидаризируясь с героями, автор, «и владел нашими судьбами, и морил нас голодом» (27). Этот «наполеончик» с коротенькими ручками и властным характером, к несчастью, не был исключением. Он принадлежал к преступному множеству тех «жирных крыс тыловых, которыми был наводнен наш дом-корабль с детишками, подобранными в океане войны...» (27).

Сами «детишки» тоже были разные, и отношения между ними складывались отнюдь не благодные. Мучительная и постоянная борьба за выживание оборачивалась вынужденной борьбой каждого против всех, кто мог лишить жизненно необходимой пайки. Закон детдомовской жизни был жесток: «Сильные пожирали все, оставляя слабым крохи, мечты о крохах, забирая мелкосню в надежные сети рабства...» (8).

И тем не менее в этом бушующем море ненависти есть островки добра и теплоты. Прежде всего – это сами Кузьменьши, которым их братский союз помогает в нечеловеческих, жестоких обстоятельствах остаться людьми, не превратиться в «шакалов», в «урок», в «шпану». Именно благодаря тому, что они есть друг у друга, в душе каждого из них не угасает любовь, теплится, вопреки окружающему холоду, доверие, жалость, сострадание – причем не только друг к другу, но и к окружающим, чужим и даже враждебным людям. Едва отъездив сами, они с сожалением думают о томилинских шакалах, вместе с которыми «за крошечку сахарина продавались в рабство» (129); они искренне жалеют обманувшего их Илью, когда видят его сгоревший дом и думают, что и он погиб; и даже распявшего Сашку чеченца Колька не убить, а только спросить хочет: за что?.. А каким высоким благородством исполнена их любовь к Регине Петровне, для которой они становятся истинными рыцарями, заступниками, защитниками! И, наконец, братское единение Кольки и Алхузура – это символ подлинной, неистребимой человечности.

Да и на пути Кузьменьшей один за другим появляются добрые, хорошие, порядочные люди.

Первый, кто, столкнувшись с ними, посмотрел не сквозь них, не поверх голов, а на них и хотя и мельком оглядел братьев, но тут же что-то «пробормотал насчет одежды», то есть заметил, как дурно, неподходяще для дальней, тяжелой дороги они экипированы, был Петр Анисимович Мешков – «Портфельчик», как называли его подопечные. Редкостно честный, глубоко порядочный человек, всю жизнь проводивший на хозяйственной работе и ушедший с нее, «ибо тащили вокруг все и вся», а он этого делать не хотел и не умел, «Портфельчик», с присущим ему чувством ответственности, принял под свою опеку «пятьсот головорезов худших из худших» (103). И делал все, что в его силах и сверх этих сил, чтобы помочь им выжить. И, пока сам был жив, ни на минуту не расставался со своим невзрачным портфелем, хранившим детские документы, чтобы в этой стране отчуждения, где, как сказано в другой знаменитой книге, «нет документа, нет и человека», никто не мог усомниться в факте существования этих несчастных «500 ч.».

Настоящим праздником, подарком судьбы стала для Кузьменьшей встреча с воспитательницей Региной Петровной, которая раз и навсегда ослепила их своей красотой и влюбила в себя. Она становится их первой любовью, их дамой сердца, ради которой они готовы были рисковать и жертвовать собой. Правда, даже умная, сердечная Регина Петровна понимает братьев не до конца, не отличает их друг от друга. Да и они, почитающие среди взрослых одну лишь ее, готовые ради нее пойти на что угодно, даже поделиться своей

зачастью, не открываются ей полностью – сказывается закоренелая привычка обеспечивать себе путь к отступлению. И все-таки именно Регина Петровна увидела в этих лишенных детства беспризорниках просто детей и попыталась открыть им не существовавшие для них раньше радости жизни. Именно она, впервые в их жизни, дала им представление о семейном быте, уюте, тепле. Дала почувствовать вкус счастья. Тем страшнее для Кольки окажется ее «предательство», когда, испуганная за себя и своих «мужичков», она, под давлением обстоятельств и поддавшись на уговоры Демьяна, обращается в бегство, оставив Кузьменьшей на произвол судьбы.

Человеческой теплотой, сохраненной, вопреки условиям существования, одаривали Кузьменьшей тетка Зина (между прочим, единственная из всех людей – еще корову Машку невозможно было ввести в заблуждение – безошибочно различавшая близнецов), шоферица Вера, воспитательница Ольга Христофоровна. Эти люди, по возможности, помогают братьям выжить и нравственно сохраниться, хотя обстоятельства их собственной жизни, казалось бы, должны были лишить их сил и способности к состраданию.

Активно насаждаемой сверху ненависти всех ко всем, особенно к «чужим» («чечмекам») противостоит естественное, органичное, нормальное убеждение нормальных людей в том, что иное не значит плохое, что ответственность за зло лежит на конкретных его носителях, а не на народах. Говорится об этом очень просто, естественно, кстати – так что урок понятен даже ребенку, хотя и вызывает у него неизбежные в данной ситуации дополнительные вопросы:

« – Они хорошие евреи, – подтвердил Колька. [Это про грузчиков на консервном заводе, которые, оказывается, тоже евреи, как и те, про которых Регина Петровна говорит, что они Библию написали. – Г.Р.] – А почему евреи должны быть плохими? – спросила с интересом Регина Петровна. И о чем-то задумалась. Вдруг она сказала: – Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди. – А чечены? – выпалил Сашка. – Они Веру убили» (165).

Регина Петровна на сей раз ничего не ответила на вопрос о «чеченах», но о чеченском мальчике, который отвел в сторону нацеленное на нее дуло ружья², о пощадивших ее ночных разбойниках забыть не могла. Она понимала и Кузьменьшам пыталась объяснить: «Не надо было папаху трогать. /.../ Будто я что-то живое резала» (155). Иными словами: нельзя в чужой, особенный, уникальный мир вторгаться силой и перекраивать его на свой лад.

Социальная модель нормального, человеческого сосуществования людей разных национальностей и разных миров представлена в повести в образе детприемника, куда попадают выловленные в горах и едва не одичавшие Колька и Алхузур. Здесь живут веселый и нескладный татарин Муса, справедливый ногаец Балбек, аккуратная и предупредительная немка Лида Гросс, а также армяне, казахи, евреи, молдаване и два болгарина. Здесь же оказываются и курносый русачок со своим черноглазым, едва говорящим по-русски братом – Кузьменьши.

У представителя официальной власти – человека в штатском, но с военной выправкой и жесткими замашками – состав приютской компании вызывает раздражение и подозрения: «Понабрали тут», – презрительно бросает он собравшимся работникам, – «Надо знать, кого принимаете». От этих слов «взрослые почему-то вздрогнули», но мужественная воспитательница Ольга Христофоровна, несмотря на собственную уязвимость (она немка), с достоинством отвечает: «Мы принимаем детей. Только детей» (242). Среди этих детей есть и слепые. Слепые физически, но зрячие по существу: добрые, умные и чуткие. Обладающие даром видеть добро в ослепленном ненавистью мире. То добро, которое открывается не глазу, а сердцу, которое сводится к очень простым, но замутненным хитросплетениями зла и напором агрессии истинам.

Оголтелому, безумному и самоубийственному призыву «Всех, всех их надо к стенке!» (225) в повести Приставкина противопоставлено детское, простодушное и единственно спасительное желание: «Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые, вон как мы, собранные в колонии, рядышком живем?» (206). Это «как в колонии» не может не вызывать горькой усмешки, но что другое мог противопоставить войне на всеобщее уничтожение «общественный» ребенок?..

«Эмоциональная кривая» повествования

Повесть Приставкина потрясает не только своей «фактурой», хотя события и судьбы сами по себе потрясающие. Мощь эмоционального воздействия обусловлена, кроме того, пронизывающей достоверностью, психологической заразительностью воспроизведенных в ней экстремальных душевно-физиологических состояний.

Эмоциональная насыщенность, густота, «температура» повествования предельно высока от начала до самого конца книги, притом что характер и содержание переживаний меняются, психологический рисунок усложняется, обогащается новыми красками. Читательское напряженное внимание-сопереживание усиливается с каждым новым эпизодом – возникает эффект эмоционально-психологической «воронки», обусловленный, с одной стороны, «изобразительной силой таланта» (М. Булгаков), а с другой –

субстанциональным, всечеловеческим, внятнм не только на сознательном, эстетическом, но и на подкорковом, физиологическом уровне характером описанных переживаний.

Если попытаться вычертить некую условную эмоциональную кривую повести, то выглядеть она будет приблизительно так. Сначала по нарастающей: голод – страх – паника. Затем перепад, переключение в иную, мажорную плоскость: любовь, ревность, грусть, счастье. И опять контрастный, на сей раз катастрофический слом: ужас, отчаяние, гибель. И, наконец, финальные переживания, знаменующие воскресение, возвращение к жизни: боль и надежда.

Уже знакомство с Кузьменышами становится для читателя едва ли не физиологическим приобщением к их судьбе. Переживаемые героями невыносимые муки голода, от которых изнывает, корчится, тоской и жаждой исходит все естество, просто невозможно не ощутить физически или хотя бы примерить к себе: «Слюна накупала во рту. Схватывало живот. В голове мутнело. Хотелось завывать, закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы отперли, открыли, чтобы поняли, наконец: мы ведь тоже хотим! Пусть потом в карцер, куда угодно... Накажут, избыют, убьют... Но пусть сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе... Как он пахнет!» (7). Для погруженных в мрак голодного существования детей возможность насыщения, утоления голода – стержневой вопрос бытия: «Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует...» (7). Мучительное желание «взять жратье», казалось бы, единственный движитель их помыслов и поступков. И читателю, которому автор просто не оставляет шансов остаться равнодушным наблюдателем, хочется сначала только одного: чтобы вождельный кусок хлеба попал, наконец, в голодные рты. Кульминационным эпизодом «голодных» глав становится захватывающая операция по «экспроприации» батона на станционном вокзале в Воронеже – потрясающая трагикомическая сцена, демонстрирующая, какого артистизма и изобретательности требовало от Кузьменышей утоление элементарной, основополагающей жизненной потребности – потребности в пище.

Между прочим, это один из тех «рискованных» эпизодов повести, которые не поддаются примитивной морализаторской оценке, ибо жизнь здесь показана в своей неразложимой сложности и противоречивости. А между тем нашелся некий «строгий» читатель (к сожалению, из нашего, учительского, числа), который усмотрел в этой блистательной по художественному исполнению, одновременно очень смешной и очень горькой сцене не более не менее как поэтизацию воровства. «Еще не успела выйти полностью повесть, – свидетельствует критик А. Латынина, – а я уже держала в руке письмо педагога, порицавшего автора за то, что, дескать, взял в герои приворовывающих мальчишек». В ответ на это нелепое обвинение А. Латынина задает риторические вопросы: «... Повернется ли язык назвать кражей скудный промысел по базарам двух голодных, оборванных мальчуганов, все мечты которых – вокруг мерзлой картофелины да картофельных очистков?.. И можно ли без сочувствия следить за той поистине героической борьбой за выживание, которую ведут два близнеца, самоотверженно поддерживающие друг друга?»³ К анализу этого эпизода мы еще обратимся, а возвращаясь к теме настоящей главы, скажем, что, достигнув здесь своего максимального сюжетного напряжения, «голодная» эмоция затухает, вытесняется другими, еще более сильными и тяжелыми переживаниями.

Чуть отъехавшие в дороге, обласканные Региной Петровной, оправившиеся от Сашкиной тяжелой болезни, Кузьменыши, как и остальные пассажиры «беспризорного» поезда, сразу по прибытии на Кавказ оказываются во власти нового мучительного чувства. Сначала их охватывает смутная неясная тревога, вызванная враждебной пустынной окружающей мест и таинственными взрывами в горах. Потом тревога перерастает в страх, многократно усиленный непонятностью, таинственностью происходящего. «Как же можно бояться, не зная чего?» – недоумевает прагматик Колька. «Можно. И потом... если все кругом боятся... это даже страшнее», – поясняет экзистенциально более чуткий, чем брат, Сашка (80). А бояться, действительно, все. Обитатели станицы Березовской «скрытно как-то живут, неуверенно, потому что по вечерам и на улицу не выходят, и на завалинке не сидят. Ночью огней в хатах не зажигают. По улицам не шатаются, скотину не гоняют, песен не поют» (68). От лица этих странных станичников проводник Илья сознается: «... Мы, жалкие переселенческие сучки, огня не жжем, боимся... Боимся! Это разве жизнь?» (72). И советует недоумевающим братьям: «Тикали б вы отсюда! Правду говорю! Бегите! Что есть мочи бегите!» (91). О страхе говорит Демьян: «Край-то богатый, можно бы жить... Страх все портит» (94). Страх застывает в глазах Регины Петровны после ночного взрыва в колонии и становится причиной ее болезни. Страх владеет добрейшей теткой Зиной: «Мы так боимся... Так боимся...» (114) – признается она близнецам и, по доброте душевной и бесхитростности, первая поднимает перед ребятами завесу тайны о насильственном переселении чеченцев и об оставшихся в горах мстителях.

Страх достигает своей кульминации и перерастает в панику после взрыва во время концерта в клубе, от которого погибает веселая шоферица Вера: «Был холод в животе и груди, было безумное желание куда-то деться, исчезнуть, уйти, но только со всеми, не одному! И конечно, мы были на грани крика! Мы молчали, но если бы кто-то из нас вдруг закричал, завыл, как воеет оцепленный флажками волк, то завывали бы и закричали все, и тогда мы могли бы уж точно сойти с ума...» (145). А когда ужас чуть отступал, мечущийся в поисках выхода разум нашептывал Кузьменышам, что «в Томилине, в этой грязной помойке, хоть и было им неудобно, но жилось проще, спокойней, чем здесь, среди этих прекрасных гор» (105).

И все-таки именно здесь им довелось пережить не только самые страшные, но и самые светлые, счастливые, по-человечески полноценные минуты жизни – настоящий праздник жизни, которым щедро одарила их сказочно красивая и добрая Регина Петровна. Целую гамму сложных, противоречивых, высоких и светлых чувств испытывают они благодаря ей: и ослепление красотой, и ревность, и смущение, и любовь, и радость, и светлую грусть. «Никогда ничего подобного они не знали и не чувствовали» (185). Подаренный Региной Петровной праздник рождения открыл мальчикам новые ценностные измерения. Всю жизнь озабоченные тем, чтобы успеть насытиться, пока не отняли «пайку», они при виде «волшебного, неправдоподобного стола», который накрыла для них Регина Петровна, «вдруг оробели» и «не знали, как подступиться» (178). Впервые в жизни получив настоящие подарки, они растерялись, не зная, что с этим делать, а с трудом натянув на себя непривычное облачение, не решались выйти из укрытия, где переодевались: «Разве у нормального человека может быть столько на себе добра!» (181). Но главное, что даровала им в этот изумительный день Регина Петровна, – неведомое дотоле умиротворенно-светлое душевное состояние: «было томно, грустно, тихо, тепло, душевно. Счастливо было, словом» (185).

Тем ужаснее, невыносимее то, что случилось после.

Все произошло непоправимо быстро и неотвратимо страшно: пробуждение, «неживая тишина», опустевшая колония, погоня, Колькино забытье, безмятежное утро, распятый Сашка. Вслед за расслабленностью и умиротворением – предельный накал чувств: опять страх, усиленный непонятностью происходящего и мгновенно перерастающий в панику, самозабвенное инстинктивное желание спрятаться, зарыться в землю, спастись; полная утрата сознания; затем пробуждение, надежды и – ужас, не поддающийся описанию, невыразимый, невыносимый ужас, исходящий из недр потрясенного естества в нечеловеческом крике.

Потом наступает сосредоточение отчаяния, когда оно, загнанное внутрь, становится источником тех сил, которые нужны Кольке, чтобы отдать брату последний долг, чтобы в мысленном разговоре с убийцей Сашки просто и точно обозначить случившееся: «Ты нас с Сашкой убил...» (206), чтобы отправить брата в последнее путешествие, чтобы осознать новый свой человеческий статус: «Я – обоим» (208). И только затем дать волю отчаянию, выпустить его наружу – разразиться слезами.

Катастрофа, которой венчается повествование о мытарствах братьев Кузьминых, производит такое ошеломляющее впечатление, что после нее, кажется, ничего сказать уже невозможно, да и не нужно говорить. Большинство писавших о повести критиков полагали, что здесь и следовало поставить финальную точку, чтобы не переводить повествование из реалистического в литературно-романтический план. Но точка в этом месте была бы приговором уже не героям повести, а всем нам. Такой конец текста значил бы конец осмысленного и оправданного человеческого бытия, конец истории, в начале которой был распяты на кресте Сын Человеческий, а в обрушивающем мир в катастрофу финале – распяты и поруганный труп ребенка.

Но эта книга – не приговор, а урок. И венчают ее не смерть, а воскрешение через боль и, вопреки всему, – надежда. Робкая, косноязычная, в символическом косноязычии своем беззащитно уязвимая, и все-таки – надежда: «Зачымплакыт! Нэ надо... Мы будытэхыт, ехыт, и мы приедыт, да? Мы будыт вместе, да? Всужиствэмэсты, да?» Стук колес набирающего ход поезда, который увозит от нас в неизвестность плачущего Кольку и утешающего его Алхузура, словно подтверждает: «Да-да-да-да-да-да...» (246).

Пространственно-временные координаты субъектная организация повествования

Действие повести разворачивается в течение года – с зимы 1944 до 1 января 1945 – на огромном неуютном пространстве разоренной, обездоленной, сиротливо бесхозной земли, вдоль и поперек пересеченной бесконечными дорогами, по которым в бесплодных поисках постоянного пристанища скопом и в одиночку мечутся люди. Песенно-поэтическая, романтическая формула той эпохи «Широка страна моя родная...» с подразумеваемым, но не приведенным в повести, спрятанным в многозначительный подтекст финалом строфы «...где так вольно дышит человек» включена Приставкиным в опровергающий, горько-иронический контекст и переплавлена в прозаические, реалистические констатации-свидетельства многочисленных скитальцев по безотрадным отечественным просторам: «Большая Россия, много в ней красивых мест, а бардак, посудить, он везде одинаковый...» (84).

Реальное историческое время – последний военный год – и реальное географическое пространство («грязненькое Подмосковье» – дорога на юг – таинственный и страшный Кавказ) даны в повести через две то существующие параллельно, то пересекающиеся и сливающиеся субъектные призмы: восприятие героя и позицию рассказчика.

Внутриситуативная, обнаженно субъективная, эмоционально и интонационно ярко окрашенная – это «геройная» призма, принадлежащая или обоим Кузьменьям сразу, или одному из них – Кольке. «Здесь и теперь» – вот самоощущение героев, соответственно формирующее хронотоп их существования.

Извне, с расстояния сорока отделяющих от описываемых событий лет, из недр «удобной московской квартиры» (145), вглядывается в героев и события автор-рассказчик. Ему, в отличие от героев, видны причины и следствия, ему ясна историческая перспектива, понятно то, что не могли знать или не умели сформулировать ввергнутые в ужас бытия и обреченные на гибель дети.

Голос и взгляд автора-рассказчика обращены одновременно и в то трагическое прошлое, которому посвящено повествование и в котором он живет судьбой и переживаниями своих героев, и в недоступное героям, неведомое им настоящее, в котором он жадно ищет следы товарищей по судьбе: «Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту: откликнитесь же! Нас же полтыщи в том составе было! Ну хоть еще кто-то, хоть один, может, услышит из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было, начали пропадать, гибнуть на той, на новой земле, куда нас привезли...» (25).

Автор-рассказчик не просто ведет повествование – он берedit незажившие раны, заново переживая вместе со своими героями свое собственное прошлое и властно вовлекая в сопереживание, соучастие, сострадание читателя. В самые страшные, напряженные, трагические моменты повествование от третьего лица переходит в рассказ от первого лица, отстраненное «они» незаметно и естественно заменяется на всеобъемлющее «мы» и (или) пронзительно личностное «я».

Вот, например, как это происходит в эпизоде, рассказывающем о пути колонистов через зловещую ночь после взрыва во время концерта.

«Картина была такая. Директор шел впереди, выставив перед собой портфель, как щит.

Походка его была не то чтобы нерешительная, а какая-то неровная, дерганая, будто он разучился ходить. Он, наверное, спиной чувствовал, как его подпирают дети. А им тоже казалось, что вот так, за ним, ближе к нему, они лучше прикрыты и защищены.

Слава богу, что никто из них не мог в это время видеть его лица».

Это эпически объективная картина, данная извне, со стороны. Субъективная причастность рассказчика описываемым событиям обозначена лишь вводными вкраплениями «наверное», «слава богу», привносящими личную оценку, выдающими личную заинтересованность.

А вот следующая фраза, отделенная от предыдущей пробелом, графически вычлняющим заключительную часть 19 главы, – это уже сугубо личное, индивидуальное переживание: «Да еще эта глухая темнота, особенно беспросветная после яркого пожара!» Так запечатлено эмоциональное слияние рассказчика с героями, а вслед за ним происходит незаметная, не сразу фиксируемая читательским сознанием подмена отстраненно объективного «они» на объемлющее героев и рассказчика «мы»: «Мы шли, сбившись в молчаливую плотную массу. /.../ Даже ступать мы старались осторожно, чтобы не греметь обувью. Мы затаили дыхание, старались не кашлять, не чихать. /.../ Что мы знали, что мы могли понимать в той опасности, которая нам угрожала? Да ничего мы не понимали и не знали!» Здесь не только содержание рассказа, но и сама субъектная организация текста, безошибочно точное, ювелирное переключение регистров, перевод повествования из объективного в субъективный план захватывает, вовлекает, включает читателя в сопереживание, апеллируя к экзистенциальному ядру его личности, в котором сидит, в ожидании своего часа, готовый в любую минуту вырваться наружу, ужас одиночества, заброшенности, страх смерти: «Мы, как маленькие зверята, шкурой чувствовали, что загнаны в эту ночь, в эту кукурузу, в эти взрывы и пожары...»

После этого кульминационного в рамках эпизода фрагмента происходит резкое временное смещение, на мгновение на передний план повествования выдвигается пребывавший в тени, дышавший в затылок героям автор-рассказчик, «демиург», сетующий на то, что все, чем он располагает для воспроизведения пережитого, – это всего лишь «слова, написанные через сорок лет после тех осенних событий сорок четвертого года». Но такое признание не только не умаляет, а, напротив, усиливает, подпитывает не угасшей за сорок лет остротой переживания «беспросветный ужас», который той страшной ночью становился «тем сильнее, чем больше нас было», и в то же время дробился на «берущий за горло» «страх каждого из нас», личный страх: «Я только запомнил, и эта память кожи – самое реальное, что может быть, – как подгибались от страха ноги, но не могли не идти, не бежать, ибо в этом беге чудилось нам спасение...», – и вновь складывался в общее для всех чувство: «Мы хотели жить животом, грудью, ногами, руками...» (145).

Вдруг всплывшие на поверхность текста «мы» и особенно «я», которые в следующей главке вновь растворяются в третьем лице, создают эффект сопряжения – скрещения времен, скрещения судеб...

Вот другой фрагмент повествования, построенный по тому же принципу. Завершается самый счастливый в жизни Кузьменышей день – первый и единственный праздник рождения. Уже съедены вкуснейшие угощения, примерены восхитительные подарки, рассказаны веселые истории, спеты грустные песни. «Был вечерний закат, и было томно, грустно, тихо, тепло, душевно. Счастливо было, словом». Так это осознается и переживается изнутри ситуации. Дальше – взгляд извне, из авторского (и предполагаемого читательского: «наши братья») трагического всеведения: «Хотя о счастье наши братья еще не догадывались, они, может быть, поймут это позже. Если поймут. Если будет у них еще время понять!» Вслед за тем – опять-таки горький авторский вздох от лица умудренной опытом разочарований и крушений зрелости: «Боже мой, как жизнь коротка, и как тяжело думать и загадывать наперед, особенно когда мы уже все, все знаем...» И тут же – «приземление», возвращение внутрь ситуации, но уже не через отстраненно-«геройное», а через личное, от первого лица переданное переживание: «Помню, помню этот несказанный вечер на нашем обетованном хуторке в глубине каких-то предгорий Кавказа. Как ни странно, но день, придуманный для нас волшебницей Региной Петровной, стал моим днем рождения на всю жизнь. Я думаю, может, и правда я тогда по-настоящему только и родился?» (185).

Пронзительно личное чувство, окрашивающее повествование от начала до конца, личная причастность автора к тому, что происходит с героями, более того – совпадение героя и автора-рассказчика не только в эмоционально-психологическом, но и жизненном, личностном плане, притом что в момент повествования они отделены друг от друга четырьмя десятилетиями, а возможно, и границей между жизнью и смертью, обуславливает особый, пульсирующий, то расширяющийся, то сужающийся характер художественного пространственно-временного поля.

Расширение обеспечивается за счет недоступного героям «авторского избытка» (М.Бахтин).

Сужение происходит, когда художественной призмой повествования становится взгляд героя-ребенка, участника и оценщика событий. Приставка не просто показал судьбу ребенка в безумном, жестоком мире, он показал мир глазами ребенка, и эта специфическая – «детская» – призма предопределила особый характер повествования в целом и пространственно-временных его параметров в частности. Как уже говорилось выше, для Кузьменши все происходит здесь и сейчас. Отрывочные, весьма приблизительные, отчасти мифологические представления Кузьменши об окружающем мире служат лишь неким условным фоном их предельно конкретных жизненных установок и задач: «Золотая у Сашки башка, не башка, а Дворец Советов! Видели братья такой на картинке. Всякие там американские небоскребы в сто этажей ниже под рукой стелются. Мы-то самые первые, самые высокие! А Кузьменши первые в другом. Они первые поняли, как прожить им зиму сорок четвертого и не околеть» (9). Точная датировка событий здесь – авторская подсказка читателю, апелляция к его, читательскому, знанию и пониманию того, что 1944 – предпоследний год войны, со всеми вытекающими из этого для всей страны и каждого отдельного человека многочисленными и многосложными следствиями и обстоятельствами. Но в той картине мира, которая сложилась в сознании Кузьменши, войне отведено место некоего стабильного, неизменного фона, некоей внешней данности, которую не оспорить и не изменить, потому что довоенной, безвоенной жизни они не помнят, не знают (для них это какие-то мифические, «невероятно давние времена» /132/, обозначаемые слитным новообразованием «довойны»), а о послевоенной жизни они почти не думают – не до того. Им бы сейчас, сегодня выкрутиться, исхитриться, увильнуться, «взять жрать», «не околеть»...

Практически у Кузьменши есть только одно время – настоящее. И не только потому, что они дети, а у ребенка сиюминутное его положение и состояние поглощает эмоциональные и интеллектуальные ресурсы личности, но и потому, что они одинокие, заброшенные, вынужденные вести непрерывную войну за выживание дети. Откуда взяться ощущению личной жизненной перспективы у тех, кому неведом даже самый факт собственного рождения, тем более – точная его дата; для кого «девятнадцать – это почти что старость» (151), предельной мерой понятия «всегда» является 20-летний возраст, а 30 и 40 лет кажутся старостью (179), лишенной памяти, т.е. не имеющей прошлого.

Абсолютной поглощенности юных героев настоящим в немалой мере способствует предельное напряжение всех сил, которого оно от них требует, его событийно-эмоциональная насыщенность, трагедийный накал.

Всего сутки отделяют везущего в последний путь мертвого брата Кольку от того момента, когда они с Сашкой проснулись в телеге Демьяна среди зарослей кукурузы по дороге из хозяйства в колонию. «Но сейчас Кольке показалось, что это случилось давным-давно» (203), потому что между двумя этими временными точками – сейчас и вчера – были не только страх, бегство, погоня, разоренная колония; между вчера и сегодня стояла смерть. И не только смерть Сашки, зверски казненного за чужую вину, но и Колькина встреча лицом к лицу со смертью. Изнеможенный бегством от настигающего его по пятам ужаса, оставшийся в полном одиночестве, окруженный могильной чернотой, Колька по-звериному зарылся в земляную ямку и «исчез из этого мира. Провалился в небытие» (197).

А для воскресшего из небытия, потрясенного гибелью брата Кольки то, что предшествовало трагедии, отодвигается в предельную временную даль: «давным-давно»... (203).

Кроме ощущения личного времени, есть у юных героев Приставкина и некое условное школярски-книжное, мифологическое представление о времени историческом, о «каких-то отдаленных непонятных временах, когда палил во врагов чернобородый, взбалмошный горец Хаджи Мурат, когда предводитель мюридов имам Шамиль оборонялся в осажденной крепости, а русские солдаты Жилин и Костылин томились в глубокой яме» (5). Братьям и в голову не приходит, что эти литературные ассоциации, возникшие в их сознании в связи со словом «Кавказ», очень скоро обретут для них вполне конкретные, реальные и страшные жизненные очертания.

Недоверчиво воспринимают и иронически пародируют они рассказанную Региной Петровной историю о том, как в «невероятно далекие времена» приезжали на Кавказские воды «барышни и барины из северных столиц» в богатых экипажах только лишь затем, чтобы «попить Кавказских вод и привести в порядок здоровье»: «Воды-то были, они тут и до Кузьменши текли. А вот что касается господ, ради ямок тащившихся без поезда из Москвы, тут братья откровенно засомневались. Ради чурека, скажем, ради картошки или алычи – другое дело.... Жрать захочешь, прискочишь... А вода, она и есть вода. Ешь – вода, пей – вода... срать не будешь никогда!» (94). И даже не подозревая, как страшно аукнется это в их судьбе, разыгрывают они пародийное представление на тему рассказа Регины Петровны, примериваясь к железному,

похожему на гроб собачнику: «Гроб железный с музыкой! /.../ Из северных столиц... В экипаже, на воды... Господа прибыли, Кузьмины!» (95). В таком собачнике и уедет навеки от Кольки мертвый Сашка.

Есть в повести и эпизод, когда пропущенные через сознание Кузьменьшей исторические параллели придают повествованию трагикомическое звучание. Это та самая «возмутительная» сцена экспроприации продовольственных излишков у воронежской толстозадой торговки. Критический момент, когда «все изъято и надо красиво смыться» (33), дан сразу в двух глобальных по своему значению исторических проекциях – в сопоставлении со Сталинградской битвой и битвой на Куликовом поле:

«Как сказали бы в сводке Информбюро: окружение вражеской группировки под Сталинградом завершено. Пора наносить последний удар.

Для этого и стоит Сашка в засаде. Как отряд Дмитрия Боброка на Куликовом поле против Мамаю. В школе проходили. Мамай, ясное дело, толстозадая пшеничная деваха», а Сашка, увидев, что «монголо-татары стали теснить русских» (что означает: деваха вцепилась в Колькин рукав), выскакивает из засады, чтобы «нанести решающий танковый удар», и с помощью точно рассчитанного отвлекающего маневра помогает Кольке вырваться и дать деру. На заключительном этапе операции в действие включаются населяющие поезд беспризорники – «пятьсот насмешливых рож, пятьсот ядовитых глоток»: «Из окон посыпались огрызки, бутылки, банки, они-то и притормозили вражеское продвижение фашистско-мамаевых орд. Как всегда в истории, исход сражения в конечном итоге решал народ» (33,34,35). Комический эффект создается сопряжением несопоставимых по своему масштабу и содержанию явлений, но это сопряжение таит в себе и трагический смысл, ибо в конечном счете и в том и в другом случае – и на полях грандиозных сражений, и в рыночной заварухе – решался один и тот же вопрос: жить или не жить.

Таким образом, в повести осуществляется скрещение времен: настоящего и историко-мифологического времени героев; настоящего (сорока годами отдаленного от описываемых событий) и прошедшего (совпадающего с настоящим временем героев) времени рассказчика. Эти хронологические переключения, переключки и сцепления создают художественный объем, ощущение исторической достоверности и общечеловеческой значимости происходящего с героями. Песчинки, несомые ветром жестокой судьбы, они невольные участники, свидетели и жертвы исторической трагедии.

Художественное пространство повествования не менее сложно и многопланово, чем время. Оно обозначено вполне определенными, исторически и географически достоверными координатами: Подмосковье – дорога на юг – Кавказ, но при этом очень лично обжито и осмыслено, ибо это пространство жизни героев, пространство их судьбы. Два полюса, которые становятся жизненными центрами для Кузьменьшей, этапами, вехами их жизненного пути, обозначены уже в первых строках повествования: «грязненькое» Подмосковье – таинственный и недосягаемый Кавказ.

Впрочем, «грязненькое Подмосковье» – это видение рассказчика, а не героев, а Кавказ для Кузьменьшей поначалу лишь «остроконечное, сверкнувшее блестящей ледяной гранью словцо» (6). Реальное пространство их жизни – голодный и холодный детдом. Центр же мироздания, средоточие всех помыслов и желаний – ХЛЕБОРЕЗКА. «Вот так и выделим шрифтом, – подчеркивает рассказчик, – ибо это стояло перед глазами детей выше и недосягаемей, чем какой-то там КАЗБЕК!» (6). Заметим, тем не менее, что есть несомненная переключка в звучании ([зка] – [каз]) этих двух так далеко, казалось бы, отстоящих друг от друга слов и что в этой переключке кроется тайный зловещий смысл. Но Кузьменьшам не до лингвистических изысканий, для них «все дороги ведут к хлеборезке» (11) и кавказское изобилие измеряется все тем же: «Горы размером с их детдом, а между ними повсюду хлеборезки натканы. И ни одна не заперта. И копать не надо, зашел, сам себе свешал, сам в себя поел. Вышел – а тут другая хлеборезка, и опять без замка» (17).

Заочно Кавказ предстает еще в одном, не менее субъективном, измерении: прислушиваясь к разговорам о возможной отправке изголодавшихся беспризорников в край изобилия, Кузьменьши скептически предвидят, что «никакому Кавказу от такой встречи несдобровать. Оберут до нитки, объедят до сучочка, по камешкам ихние Казбеки разнесут... В пустыню превратят! В Сахару!» (13).

Образ пустыни возникает здесь не случайно, это один из главных образов-символов повести, для героев которой окружающий мир так же неуютно-необъятен, враждебно-равнодушен, как пустыня.

Без малейшего сожаления расстаются они с томилинским детдомом, с Подмосковьем, с самой Москвой: «да пропади пропадом, задарма, этот неуютный, немый, проклятый, выхолощенный войной край!» (24). (Сквозь приставки текст просвечивает, придавая ему дополнительную болевую окраску, лермонтовское «Прощай, немая Россия!») Что впереди, неизвестно, но того, с чем расстаются, не жаль. «Обветшали, обзаплатились, ободрались, обовшивели в Подмосковье, теперь сами будто от себя с радостью бежим. Летим в неизвестность, как семена по пустыне. По военной – по пустыне – надо сказать» (25).

Пустыней для них окажется и «благословенный горный край» (60) – «пустынно и глухо» встречает их чужая, таинственно и враждебно затаившаяся «красивая земля» (61).

Окружающий мир может быть невыразителен и грязен, как Подмосковье, может быть поэтически прекрасен, как Кавказ в то природно безмятежное утро, когда, очнувшись после забытья, Колька отправляется искать брата. «...Было голубо и мирно», солнечно и отраднo, и «не верилось, не представлялось, что в такое

утро может происходить хоть какое-нибудь зло» (198). На фоне этой красоты Колька и увидел распятого брата...

Красивый ли, неприглядный, мир оставался для него пустыней. «Никого рядом не было» (202) в это самое страшное утро Колькиной жизни. Никого не было и когда он сквозь ночь вез мертвого брата, и «если бы Колька мог сознавать реальней и его бы спросили, как ему удобней ехать с братом, он бы именно так и попросил, чтобы никого не было на их пути, никто не мешал добраться до станции» (204).

Но пустынность мира – не изначальное, естественное, а рукотворное, злоумышленное его состояние. Источник зла обозначен в повести опосредованно, косвенно, и это очень точный с психологической и художественной точки зрения ход, так как дети назвать его не могли, а прямое обличение от лица рассказчика перевело бы повествование из художественного в публицистический план. Но когда эти обреченные на гибель в пустыне своего одиночества дети вместе с блатными песнями столь же искренне, как само собой разумеющееся, распевают балладу о «соколе» Сталине, который «сделал счастливой всю страну родную» (140); когда Колька, замерзая в горах вместе с Алхузуром, орет изо всех сил песню «о Сталине мудром, родном и любимом» (229); когда юные обитатели детприемника, вслед за своей подозрительной для власть предержащих воспитательницей-немкой, благодарят «товарища Сталина за... счастливое детство» (243), – этого вполне достаточно, чтобы социальная картина мира сложилась во всей своей удручающей полноте.

Пустыня, которой оборачивается жизненное пространство для героев Приставкина, оставляет лишь одну возможность выживания. В пустыне нельзя, да и негде, остановиться, приткнуться, осесть, пустыню нужно попытаться преодолеть, пересечь, избыть – непрерывным движением сквозь нее. Выжить можно только «вместе и в поезде» – так формулируют для себя братья, не подозревая, что выводят философскую формулу бытия для скитальцев и изгоев в родной стране. Рассказчик подтверждает: «К поезду, к вагону да и к дороге мы привыкли, это была наша стихия. Мы чувствовали себя в относительной безопасности среди вокзалов, рынков, мешочников, беженцев, шумных перронов и поездов.

Вся Россия была в движении, вся Россия куда-то ехала и мы были внутри ее потока, плоть от плоти – дети ее» (61).

И завершается повесть не обретением пристанища ее бесприютными героями, а их отъездом в пустом, неубранном вагоне в неведомую даль. «Никто никуда, кроме них, не ехал в этот первый день нового года» (244). В их обреченности на бесконечное перемещение – обездоленность, неприкаянность и бездомность. Кто они? Семена в пустыне, «перекасти-поле, куда ветер повернет, туда и гонит»; про Кольку кто-то однажды так и сказал: «Перекасти-Коля» (76). А еще – тучки... Но не только из того лермонтовского стихотворения, строка которого стала названием повести, но не в меньшей мере из другого, еще более трагичного – те тучки, которые «небесные вечные странники» (53). Не играющие по лазури, не веселые и беспечные, а вечно гонимые, бесприютные: «Нет у вас родины, нет вам изгнания...».

Слово

У событий, изображенных в повести Приставкина, помимо описанных выше эмоционально-психологических и социально-исторических параметров, есть еще одно, чрезвычайно важное, измерение – общечеловеческое, вневременное. «Ночевала тучка золотая» – это повесть-притча, восходящая к Книге и сокровенным своим, глубинным, итоговым смыслом корреспондирующая с ней.

Вообще литературных аллюзий, реминисценций, прямых цитат в повести, начиная с названия, очень много. Вместе взятые, они создают тот культурный контекст, в который Приставкин вписывает свое видение кавказской трагедии. Но самое мощное и самое важное духовно-нравственное излучение, пронизывающее повествование от начала до конца, трагически освещающее судьбу приставкинских «детенышей», идет от Библии.

Уже в первой фразе – «Это слово возникло само по себе, как рождается в поле ветер» – помимо прямого, лежащего на поверхности смысла (так запечатлелось начало событий в сознании его участников), совершенно очевидно содержится намек на первоисточник, пратекст, объясняющий начало всех начал: «В начале было Слово...» (Иоан.1,1). И хотя автор «Тучки», как уже говорилось ранее, выражает сомнение в способности слова быть полновесным воплощением живой жизни, оно все равно остается единственным строительным материалом художественного мира книги, его первоначалом, плотью, формой существования. Да и в мире реальном власть его несомненна и повестью Приставкина убедительно подтверждена.

Чтобы истребить народ, мало физически уничтожить или рассеять по свету его представителей, мало место расчистить – надо это место переименовать, чтобы новым словом, как заклинанием, вытеснить, изжить, избыть старые реалии. В зловещий, гибельный смысл акции переименования интуитивно проникает Алхузур. Когда Колька рисует ему схему расположения заначки и обозначает на ней станицу Березовскую, «чернявый Сашка» горячо протестует: «Нет Пересовсх... Дей Чурт – так называют!» (217). Переименование Могилы Отцов (так переводится Дей Чурт) неизбежно влечет за собой буквальное выкорчевывание могил, каменными плитами с которых выстилается путь в пропасть, – очевидная кощунственная демонстрация могущества и

несокрушимости силы, властвующей над живыми и мертвыми, над прошлым и будущим. Так это и понимает чуткий Алхузур: «Камен нэт, мохил-чур-нэт... Нэт и чечен... Нэт и Алхузур... Зачем, зачем я?» (222).

Но в другом случае тот же Алхузур добровольно соглашается на переименование, когда, опять-таки интуитивно, прозревает, что только так можно спасти от гибели чужого ему пока еще мальчишку. Ни разжеванные орешки, ни ягоды, ни вода – ничто не оживляет Кольку, умирающего от тоски по брату. И только когда в ответ на очередной его призыв раздается косноязычное: «Я, я Саск... Хотя, и дакзыви... Буду Саск...» (216), – он начинает возвращаться к жизни. Это тот самый случай, когда слово равно жизни, когда оно являет свою библейскую мощь.

Впрочем, само библейское слово, библейские темы и образы, пронизывающие повесть, часто оказываются в горько ироническом, едва ли не антагонистическом первоисточнике контексте. В сознании голодных, бездомных детей существует своя, хотя и апеллирующая к библейской, построенная на заимствованных из нее словесно-смысловых блоках, но по существу опровергающая ее картина мироздания. Центром, «святая святых» этой воображаемой вселенной является ХЛЕБОРЕЗКА, куда на работу назначали «самых избранных», «счастливейших на земле», «как господь бог назначал бы, скажем, в рай» (6). Сам рай поминается в повести многократно, в разных контекстах (тетка Зина, например, толкует обещание конвойного сопроводить их в рай в полном соответствии со всем опытом своей жизни: «в рай – это на расстрел» /114/); и чем чаще, по контрасту с нарастающим трагизмом, звучит это слово, тем очевиднее: «рай» выступает атнонимическим заместителем подразумеваемого, но не выговариваемого до поры до времени, созревающего, набухающего своим страшным кровавым смыслом слова-приговора происходящему: «ад».

Философская формула бытия, сложившаяся в сознании героев, предельно проста и неопровержимо убедительна: «Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует» (7). Нравственный кодекс узнаваем с точностью до наоборот: «В краже совесть тоже нужна. Себе взял, оставь другим. Умей вовремя остановиться...» (133). Такое вот обстоятельствами продиктованное уточнение библейской заповеди. И при этом – искреннее, страстное упование на то, что там, наверху, поймут и даже помогут. Перед тем, как украсть вожделенный, одуряющий невыносимым съестным запахом, настоящий, но виденный до этого только в довоенном кино белый батон с золотой корочкой, «помолились братья про себя. Так попросили: “Господи! Не отдай никому, побереги, пока наш срок не подойдет! Отведи в сторону, господи, тех, у кого мошна большая, кто мог бы до нас это белое чудо-юдо схватить... Ты же видишь, господи, что нам дальше нужно ехать, а если мы сейчас упустим... Да и жрать охота, господи! Ты хлебами тысячи накормил (старухи сказывали), так чуть-чуть для двоих добавь!”» (30). Сколь многих благочестивых молитв эта – искренней, проникновенной и достойней быть услышанной...

Но все происходящее с детьми, весь трагедийный накал повести, человеческая и надчеловеческая глухота к детской мольбе, казалось бы, беспощадно свидетельствуют, что «нет в создании Творца и смысла нет в мольбе»...

«Библия – это такая большая, большая сказка» (165), – то ли шутя, то ли всерьез объясняет своим невежественным подопечным Регина Петровна. В контексте происходящих в повести событий возникает искушение согласиться: сказка. Ибо жизнь – сама по себе, Библия – сама по себе. Но эта «сказка» жестоко мстит за недоверие к преподанным ею урокам и страшно сбывается в судьбе приставкинских героев.

Вдоль всего их запечатленного на страницах книги пути расставлены библейские вехи – знаки высшего предназначения и особого предназначения. Поезд-«ковчег», собравший из подмосковных детдомов «каждой твари по паре» – не на спасение, а на гибель избранных, увозит детей в «землю обетованную». «...Благословенный гордый край должен был встретить их миром. Золотым солнцем на исходе лета, обильными плодами на деревьях, тихим пением птиц на заре» (60), но, злодейским своеволием превращенный из благословенного в смертью засеянный и смертью плодоносящий, край этот, становится для них адом, а «библейские горы» выступают бесстрастным и равнодушным фоном жалких потуг прокормиться и выжить. Горячее крещение в серных ваннах оказывается актом приобщения к страшной участи других переселенцев-изгоев. Неминуемую катастрофу предчувствуют неожиданно проснувшиеся детские души – те самые души, «о которых говорят, что их, то есть душ, будто бы нет» (62). Накануне трагедии Кузьменьши переживают настоящее духовное возрождение – новое, неведомое ранее ощущение полноты жизни и неразрывно сопряженное с ним осознание неотвратимости смерти. Но чем пронзительнее и богаче приобретенная братьями человечность, тем неизбежнее Голгофа.

За чужие грехи, чужую вину, чужие преступления распят Сашка.

Для того чтобы окончательно не рухнул, не утратил право на существование и сохранил шанс на спасение этот безумный мир, воскресает Колька.

Жертвенный образ Сына Человеческого, несомненно, озаряет своим светом Кузьменьшей – человеческих детенышей, в судьбе которых, как и в судьбах множества прошедших по земле людей, отразилась Его земная участь.

Но не менее существенна для понимания глубинного смысла произведения другая библейская аналогия. Для того чтобы ее, не лежащую на поверхности, не прописанную прямо, но несомненно

существующую, возможно, даже помимо воли автора возникшую, уловить, следует вернуться к вопросу, которым мы задались в начале: почему Приставкин поместил в центр повествования не одинокое «беспризорное дитя», заявленное в посвящении, а двух неразлучных братьев-близнецов?

Такое художественное решение не имеет под собой биографической основы (будущий писатель в своих скитаниях был одинок) и, на первый взгляд, смягчает, облегчает ситуацию: судьба одинокого скитальца, тем более одинокого ребенка, трагичнее. Одно из объяснений такого авторского выбора кроется, по-видимому, в изложенной выше «евангельской версии» судьбы Кузьменьшей. Обычное дитя человеческое не может в полной мере перетащить на себе такую аналогию. Братьям-близнецам, мыслившим себя как единое целое, но при этом сохраняющим личностную автономию, это оказалось под силу: гибель одного из них означает гибель обоих, воскресение Кольки – это продолжение жизни Сашки.

Однако сама идея братства, судя по тому, как она Приставкиным подана, интерпретирована, в какой контекст вписана, тоже оттуда, из Библии, заимствована, из изложенной в ней истории человеческого рода. У истоков этой истории, в основании ее – несостоявшееся братство, братоубийство, эхом отозвавшееся в веках вопросом-упреком человеку: «Где брат твой?» (Быт.4,9). Проклятие, ниспосланное свыше братоубийце Каину – «ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Быт.4,12), – тяжким грузом легло на судьбы миллионов его потомков.

«Изгнанники и скитальцы» – это социальный статус и экзистенциальное самоощущение приставкинских Кузьменьшей. Тучки... Вечные странники... Безмерная тяжесть наказания – «больше, нежели снести можно» (Быт.4,13) – многократно усилена тем, что несут его дети. По логике героя Достоевского, в самый раз бы «вернуть билет», миру Божьему отказать в своем личном приятии⁴. Но судьба героев Приставкина выстроена по другой логике. Всем своим существом, жизнью своею они искупают прародительскую вину – восстанавливают изначально поруганную святыню братства. Вот почему идея братства пронизывает повесть от начала до конца, вот почему рядом с Колькой на месте погибшего Сашки появляется Алхузур. Нет, не утешительно-сентиментальный, как привиделось некоторым критикам, а библейски масштабный, притчевый финал у этой книги.

Братский тандем Кольки и Алхзура подчеркивает, усиливает, делает неопровержимо наглядным то, что утверждалось с самого начала неразрывностью «первых» Кузьменьшей: братство в повести Приставкина – это внесемейная, внеродовая, наднациональная ценность, это братство во человечестве, а не в тесном, замкнутом пространстве семьи или рода. Совершенно разные во всем, изначально разным мирам принадлежавшие, всеми обстоятельствами своей жизни проговоренные к тому, чтобы быть врагами, Колька и Алхузур не просто друзья – они братья, восстанавливающие своим союзом не состоявшуюся в начале земного бытия гармонию сосуществования. Вместе с убиенным Сашкой, его устами, вопреки очевидности и в поучение ей, они свидетельствуют: «все люди братья» (231).

Изгнанниками и скитальцами живущие на земле, пропитанной со времен Каина кровью миллионов братьев, герои Приставкина, сами того не ведая, являют собой оправдание погрязшего в грехе братоубийства человечества и надежду на его спасение, залогом которого может стать только осознание очевидной для них, выстраданной ими истины. На отчаянный вопрос потрясенного разорением родового кладбища Алхзура «Зачем, зачем я?» Колька исчерпывающе просто отвечает: «Если я есть, значит, и ты есть. Оба мы есть» (222). Альтернативу формулирует он же, в мысленном разговоре с убийцей брата: «Ты нас с Сашкой убил, а солдаты пришли, тебя убьют... А ты солдат станешь убивать, и все: и они, и ты – погибнете» (206). Устами младенца...

В повести Приставкина нет авторитарного, назидательного, безошибочного в своей императивности слова, как в классической притче. Истина здесь звучит из детских уст, негромко, без пафоса, порой, когда это уста Алхзура, косноязычно, словно заново, в муках, рождаясь. Но от этого она не перестает быть истиной. Имеющий уши да услышит.

А чтобы услышавших было больше, чтобы люди наконец научились сопрягать прошлое и настоящее, чтобы не множилось, а пресекалось зло, чтобы не угасала надежда, школьный учитель должен сделать все от него зависящее, чтобы его ученики прочли эту горькую, мудрую, пронзительно человечную и так страшно актуальную сегодня книгу – только тогда она не останется, как того опасался автор, «криком в пустоту».

Анатолий Приставкин

Коротко о себе

Родился в г. Люберцы под Москвой, рано потерял мать, отец был на фронте, воевал, кстати, и на Кавказе в районе Малгобека, но чеченцев не выселял.

Всю войну бродяжил: побывал в Сибири, на Кавказе, сменяя десяток детских домов и колоний. Когда стало нечего есть, воровал.

Работать пошел с 12 лет, на авиационном заводе под Москвой делал шины для раненых (1943 г.), в станице Асиновской на консервном заводе мыл банки...

В 15 лет работал на аэродроме под Москвой, закончил авиационный техникум, затем Литературный институт им. Горького. Строил Братскую ГЭС (1960 г.), был корреспондентом «Литературной газеты»,

вступил в Союз писателей в 1961 г.

Издано больше 25 книг, за роман «Ночевала тучка золотая» был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Этот роман переведен на все европейские языки. За повесть «Кукушата» в 1992 г. я получил общегерманскую премию по детской литературе.

Проживаю в Москве, трое детей, младшей дочке 13 лет. Возглавляю Комиссию по вопросам помилования при Президенте РФ.

16.01.2001

писатель.ру

Дополнение:

Комиссия по помилованию при Президенте РФ в 2002 г. была реорганизована, и А.И. Приставкин ныне является советником Президента РФ по вопросам помилования.

Осенью 2002 года А.И. Приставкин за свою общественную и литературную деятельность был награжден немецкой премией имени Александра Меня.

Выдержки из статьи А.И. Приставкина «Жестокость»

(Литературная газета, № 20, 1996)

Мой коллега, литератор, еще летом рассказал мне случай про китайского профессора, русиста, который всю жизнь мечтал попасть в нашу страну и даже поплатился за такую любовь: с десяток лет при Мао работал на рисовых плантациях. Но времена изменились, он наконец вырвался в Москву и... был избит и ограблен неподалеку от гостиницы, где проживал.

Мой приятель навещал его в больнице – диагноз: травма головы, – и профессор вопрошал с недоумением, отчего же подростки продолжали его бить после того, как он отдал им деньги? Кто бы смог ответить на его вопрос. «Я любил Россию заочно всю жизнь, но я, наверное, не смогу ее больше любить», – заключил профессор, уезжая.

Нам некуда от России уехать, она нам, как лагерный срок, дана пожизненно. Мы обречены на эту любовь. Любовь без взаимности. Которая чем больше, тем опаснее для жизни.

Вот недавно повезло мне посмотреть Кафку в постановке Валерия Фокина. Час или около того длится действие, по зрительскому самочувствию похожее скорее на обморок: воздуха набрать нет сил, когда сосуществуешь рядом с чудовищным насекомым (его играет Костя Райкин), в которого превратился, по несчастью, обычный человек, проживавший в кругу любимой семьи. И вот такие странности: чудовище чем дальше, тем больше обретает черты человечности и любви, в то время как его человекоподобная родня – мать, отец и сестра – превращается поистине в чудовищ, убивающих ради собственного благополучия сына и брата.

Волей режиссера нам дали возможность заглянуть в самих себя. Все мы, народ (население – будет точнее), сами того не заметив, медленно, но верно превратились в уродливых насекомых в стенах нашего больше Дома, в странных приживальщиков, ненавидимых и гонимых в своей собственной стране. Темноволосых мы не любим, потому что они похожи на чеченцев, косоглазых – потому что они инородцы или беженцы, предприимчивых – за активность и удачливость, стариков – за то, что брюзжат и мешают всем жить, ну а молодые слишком шумны и малоправляемы, да вообще опасны, среди них бывают наркоманы.

Ну, и все остальные тоже нехороши, потому что не знаешь, чего от них ждать, особенно во время выборов и смуты. Не случайно в каких-то стихах сказано: «А Россия такая большая, а чего она хочет, спроси...»